

*М. В. Михайлова**

СМЕРТНОСТЬ КАК РЕЛИГИОЗНО- КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА: БОККАЧЧО И ПУШКИН О ЖИЗНИ ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ

Статья посвящена рассмотрению религиозно-культурологических стратегий переживания смертности, представленных в классических текстах Боккаччо и Пушкина. Пандемические кризисы обостряют конфликт между ценностями биологической жизни и человеческого достоинства, состоящего в том числе и в возможности отдать жизнь ради другого. Телесная уязвимость, пределом которой является смертность, может быть рассмотрена как ресурс, открывающий доступ к бессмертию.

Ключевые слова: смертность, смерть, жизнь, бессмертие, сообщество, свобода, чума, пир.

M. V. Mikhailova

MORTALITY AS A RELIGIOUS AND CULTURAL PROBLEM: BOCCACCIO AND PUSHKIN ABOUT THE LIFE DURING THE PLAGUE

The article deals with the religious and cultural experiences of a human mortality represented in the classical texts of Boccaccio and Pushkin. Pandemic crises revealed the strong conflict between two basic human values: a biological life and health, from one side, and a human dignity including the ability to give a life for another. Mortality regarded as a limit of human vulnerability is examined as a resource opening the access to the immortality.

Keywords: mortality, death, life, immortality, community, freedom, plague, feast.

Одна из существенных характеристик ковидной пандемии — ее неопределенность, уже неоднократно ставшая и предметом шуток, и объектом научного анализа. Объяснительные схемы, предлагаемые СМИ и соцсетями, постоянно меняются и противоречат друг другу. В результате субъект переживает состояние полной когнитивной неопределенности, вызванной отчасти

* Михайлова Марина Валентиновна, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры педагогики и философии образования, Русская христианская гуманитарная академия; marinamai63@gmail.com

тем, что мы находимся внутри события и не имеем ни полноты информации, ни необходимой для понимания внеположной позиции, отчасти тем, что само событие имеет в значительной степени медийную природу, что размывает его сущность. Пандемия — ровно настолько же реальное событие, насколько она медийный эффект.

Образ пандемии строится у людей на основании личного опыта и сообщений СМИ и соцсетей. На официальных сайтах ВОЗ, Минздрава РФ и Роспотребнадзора общая статистика не представлена. Анализ данных, предлагаемых доступными интернет-ресурсами, показывает, что по состоянию на 5 августа 2021 г. (т. е. за полтора года пандемии) в мире выявлено 200 млн случаев заболевания, что составляет менее 3% населения Земли, которое в июле 2021 г. составляло 7,9 млрд. Число летальных исходов — 4,26 млн т. е. 0,05% населения Земли и 2,13% заболевших ковидом. Для сравнения, согласно тем же информационным ресурсам, в пандемию испанского гриппа 1918–1920 гг. было заражено не менее 550 млн человек, что составляло на тот момент около 30% населения Земли, умерло до 100 млн человек, т. е. примерно 5,3% населения Земли и 20% от общего числа зараженных. Следовательно, напряжение и страх сегодня обусловлены не столько масштабом бедствия, несравнимым с прежде бывшими пандемиями, сколько интенсивным негативным дискурсом СМИ и соцсетей.

Пандемия — не столько обладающий конкретным содержанием исторический факт, сколько сумма индивидуальных переживаний. Поэтому пока трудно оценить вероятность прогнозов, говорящих о наступлении экологической эры, отказе от существующих стратегий потребления и даже о радикальной перемене общественного строя (так, С. Жижек предвещает, что «антидотом бедственному капитализму станет бедственный коммунизм» [14, р. 3]). Не претендуя ни на объективное рассмотрение события, ни на прогнозирование его последствий, сосредоточимся на том, как оно переживается.

Аналитика личного опыта и мониторинг философских высказываний позволяют назвать три параметра пандемии, имеющих антропологическое значение. Во-первых, это рост властного контроля и разрушение приватности, несущие угрозу личной свободе. Не зря в обсуждениях пандемии часты отсылки к работе М. Фуко «Надзирать и наказывать». На примере чумы XVII в. Фуко показал, как «отношение каждого индивида к собственной болезни и смерти проходит через представителей власти, проводимую ими регистрацию, выносимые ими решения» [8, с. 287–288]. Чума — дисциплинирующий фактор, вызывающий «множественные подразделения, индивидуализирующие распределения, глубинную структуру надзора и контроля, интенсификацию и разветвление власти» [8, с. 289–290]. Сегодня стратегии контроля осуществляются на основе новой гуманистической риторики и с применением современных технических возможностей, что позволяет некоторым исследователям говорить об «антропоцентрическом авторитаризме» [9]. Парадоксально, что декларируемые забота о здоровье граждан и социальная ответственность ведут в стерильное и гибельное пространство (анти)утопии:

По большому счету невозможно оказаться в безупречной утопии, не заразив ее собственным несовершенством, не привнеся в нее вирус смертельного

хаоса. Утопия — мир, свободный от нас. Мир, в котором некому обмениваться вирусами [4].

Во-вторых, цифровизация, проводимая в России с 2017 г. как государственный проект (программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 № 1632-р), с началом пандемии пропагандируется не только как экономически эффективная и удобная для граждан, но и как этичная и гуманная: перемещение любой деятельности в интернет декларируется как укрепление эпидемиологической безопасности и общественного благоденствия. При этом очевидно, что цифровизация запускает процессы развоплощения и расчеловечивания, упраздняет телесность и разрушает образование, изымая из него важнейшую составляющую непосредственной передачи невербализуемых, но фундаментальных жизненных смыслов от учителя к ученику и сводя его к системе транслирования идеологием и единиц информации.

В-третьих, пандемия вызвала напряжение в обществе, сотрясаемом дебатами тем более яростными, чем менее они фундированы научными и историческими фактами. Конфликты обостряются тем, что часть населения добровольно принимает на себя функцию надзора, организуемого

как множественная, автоматическая и анонимная власть; ведь хотя надзор основывается на индивидах, он действует по сети отношений сверху вниз, но также, до некоторой степени, и снизу вверх и горизонтально; эта сеть удерживает целое и насквозь пронизывает его происходящими одно от другого проявлениями власти: надзиратели, находящиеся под постоянным надзором [8, с. 258].

Ковидный кризис трудно назвать насильственным. Меры, принимаемые властью, не репрессивны, поскольку мотивированы заботой об общественной безопасности и здоровье граждан. Более того, формально они чаще являются рекомендациями. Так, режим самоизоляции в Петербурге весной 2020 г., согласно официальным документам городского правительства, был обязателен только для заболевших ковидом, состоявших в прямом контакте с больными и лиц старше 65 лет, а остальным был лишь рекомендован. Тем не менее население добровольно принимает все ограничения и регламенты.

Когда власть берет на себя функцию опеки, легко утратить личную свободу, доверившись течению событий. Парадоксальным образом карантин, предполагающий уединение, становится фактором, усиливающим в дезориентированном субъекте желание слиться с большинством. Французский философ К. Малабу обратила внимание на то, как сложно оказалось

создать остров одиночества внутри изоляции, to create an island (insula) within isolation. Возможно, самая трудная из задач, поставленных ситуацией локдауна, состояла в том, чтобы, уже будучи отделенным от общества, расчистить пространство, где можно быть вполне у себя [12].

Добровольное подчинение вызвано действием двух страхов — за себя и за других. Мы боимся болезни, страданий и смерти, потери работы, общественного осуждения. Еще сильнее страх стать причиной болезни, страданий

и смерти дорогих людей, оставить семью без средств к существованию, скомпрометировать близких антиобщественными поступками. В конечном счете источник всех этих страхов — непроясненные отношения с человеческой смертностью. Сохранение свободы, достоинства и качества жизни напрямую зависит не от внешних обстоятельств, а от того, как мы решаем этот внутренний вопрос. Существенно замечание Д. Агамбена о том, что борьба с вирусом, «с невидимым врагом, который может таиться в каждом человеке, — это самая абсурдная из войн. Это, в сущности, гражданская война. Враг — не снаружи, он внутри нас» [10].

Проблема смертности неустранима. Поскольку войны, революции и пандемии делают смерть реальной близкой перспективой для каждого человека, в эти времена возникает настоятельная необходимость решить вопрос о собственной смертности, который в спокойные времена всегда можно отложить на потом, тем более что культура развлечений тому энергично способствует. Впрочем, и в «минуты роковые» остается возможность отказа от осознанных отношений со смертью, но цена такого выбора — рост глубинного напряжения и, как следствие, увеличение несвободы.

Поскольку философия является практической наукой и инструментом заботы о себе, мы рассмотрим некоторые религиозно-культурологические стратегии переживания смертности, предложенные в двух классических текстах, центральной темой которых является чума, в «Декамероне» Боккаччо и «Пире во время чумы» Пушкина. Перед авторами, переживавшими жестокие испытания (для Боккаччо таковым стала Великая чума XIV в., для Пушкина — холерная эпидемия 1830-х гг.), со всей определенностью встали вопросы: как вести себя в мире, где люди захвачены страхом и неуверенностью? Как жить в те времена, когда смерть в любой день может сделаться гостьей в любом доме? Их ответы сохраняют актуальность и сегодня, т. к. страх, рождаемый ковидом, едва ли сильно отличается от страха чумы. Не случайно одна из глав книги английского богослова Д. Леннокса «Где Бог в коронавирусном мире?» называется «Мы уже были здесь раньше» [11, р. 9].

«Декамерон» Боккаччо заслуженно считается одной из самых веселых книг в истории человечества. Как ни странно, замысел этой легкой вещи и ее сюжет связаны с Великой чумой XIV в. Действие начинается в Флоренции, и Боккаччо подробно описывает жизнь чумного города, которую он видел «собственными глазами» [1, с. 12]: бубоны и кровавые пятна на теле больных, людей, падающих замертво на улице, огромные ямы на кладбищах, куда рядами складывали тела умерших. Среди подлинного, реального ужаса Боккаччо задумывает удивительную книгу.

«Декамерон» по-гречески — «десятидневник». В течение десяти дней десять молодых женщин и мужчин рассказывают друг другу истории. Новеллы, составляющие сборник, прекрасны и сами по себе, но их значение вполне раскрывается благодаря контексту, в который автор их помещает.

Первый день Декамерона начинается с того, что автор сообщает прелестным читательницам, что вступление к книге напомнит о горестных событиях чумы, и уверяет, что он не мог бы рассказывать веселые истории без этого печального предисловия: «Если бы я мог достойным образом повести вас

к желаемой мною цели иным путем, а не столь крутою тропой, я охотно бы так сделал» [1, с. 11]. Автор настаивает на том, что смысл жизнерадостных новелл определяется именно тем, что они рассказаны среди торжества смерти. Далее он переходит к описанию чумы:

Итак, скажу, что со времени благотворного вочеловечения Сына Божия минуло 1348 лет, когда славную Флоренцию, прекраснейший изо всех итальянских городов, постигла смертоносная чума, которая, под влиянием ли небесных светил, или по нашим грехам посланная праведным гневом Божиим на смертных, за несколько лет перед тем открылась в областях востока и, лишив их бесчисленного количества жителей, безостановочно двигаясь с места на место, дошла, разрастаясь плачевно, и до запада [1, с. 11].

Боккаччо не просто называет 1348 г., а упоминает о «благотворном вочеловечении Сына Божия». Несмотря на антиклерикальные мотивы в «Декамероне», Боккаччо, без сомнения, христианин. Юмор его направлен не против Церкви, а против грехов и злоупотреблений отдельных ее деятелей. Вторая новелла первого дня «Декамерона» представляет собой одну из лучших историй о силе Духа Святого в Церкви, своего рода экклезиодицею. Поэтому упоминание Рождества Христова осознанно и значительно. Тем самым размышления о чуме включаются в два важных богословских контекста. Во-первых, чума осознается в связи с Божественным промыслом. При этом Боккаччо свойственно объемное и нелинейное представление об участии Бога в истории. Как в XIV в., так и в любые другие времена, начиная с гомеровских и включая нынешние, простая схема религиозного размышления о чуме примерно такова: поскольку мы погрязли в страшных грехах, Бог (или боги) для нашего вразумления и исправления послали на нас телесную заразу, дабы очистить нас от внутренней скверны. Поэтому нам необходимо покаяться, начать вести себя хорошо и уповать на божественную милость. Схема эта столь же логична, сколь неубедительна, а потому Боккаччо упоминает ее как один из вариантов объяснения событий, допуская, что чума может не только посылаться «по нашим грехам <...> праведным гневом Божиим», но и возникать «под влиянием небесных светил», то есть в силу мировых законов, которые все равно остаются Божьими, но не объясняются в простой логике греха и наказания.

Вторым важным религиозным контекстом, вводимым упоминанием о «благотворном вочеловечении Сына Божия», является богословие Боговоплощения. Воплотившийся и вочеловечившийся Бог во времена испытаний находится рядом с нами, разделяет страдания человека. Весной 2020 г. один московский священник на проповеди сказал, что если бы коронавирус случился во времена земной жизни Господа, вполне возможно, что Иисус бы им переболел. Эта замечательная мысль близка к богословскому пафосу Боккаччо. Участие Бога в истории не в том, что Он освобождает от бед особо праведных и насылает моры и эпидемии на особо грешных, а в том, что Он в силу Своего благотворного вочеловечения разделяет с нами все обстоятельства, связанные с телесностью и человеческой природой. Поэтому не так важно, по грехам ли людским или по причинам естественным, биологическим пришла чума. В любом случае она пришла, и надо понять, как теперь жить.

Далее Боккаччо рассказывает о стратегиях выживания в чумной Флоренции. Первая — самоизоляция:

Некоторые полагали, что умеренная жизнь и воздержание от всех излишеств сильно помогают борьбе со злом; собравшись кружками, они жили, отделившись от других, укрываясь и запираясь в домах, где не было больных и им самим было удобнее [1, с. 12].

Вторая — погружение в стихию развлечений:

Другие <...> утверждали, что много пить и наслаждаться, бродить с песнями и шутками, удовлетворять, по возможности, всякому желанию, смеяться и издеваться над всем, что приключается, — вот вернейшее лекарство против недуга <...> Так и приводили в исполнение, днем и ночью странствуя из одной таверны в другую [1, с. 12–13].

Третья — бегство из зачумленного места:

Иные были более сурового, хотя, быть может, верного мнения, говоря, что против заразы нет лучшего средства, как бегство пред ними. Руководясь этим убеждением, не заботясь ни о чем, кроме себя, множество мужчин и женщин покинули родной город, свои дома и жилища, родственников и имущества и направились за город [1, с. 13].

Боккаччо говорит, что вне зависимости от того, которую из трех стратегий избирали люди, два обстоятельства были общими. Во-первых, люди «и не все умирали, но не все и спасались; напротив, из каждой группы заболевали многие и повсюду» [13]. Во-вторых, «оставшись в живых, почти все стремились к одной, жестокой цели: избегать больных и удаляться от общения с ними и их вещами; так поступая, воображали сохранить себе здоровье» [1, с. 12]. Картина нравов чумной Флоренции в изображении Боккаччо по существу не отличается от нынешнего положения вещей, которое точно резюмирует Д. Агамбен: «Можно сказать, что люди не верят больше ни во что — кроме как в голое биологическое существование, которое следует спасти любой ценой» [10]. Боккаччо подчеркивает, что чума принесла разрушение привычных форм социальности (семейного уклада, похоронного обряда, уважения к собственности, границ между господами и слугами и проч.) и поставила под угрозу человеческие отношения: заболевшему «не оставалось никакой помощи, кроме милосердия друзей (таковых было немного) или корыстолюбия слуг» [1, с. 14].

Среди всеобщего распада в церкви Санта Мария Новелла встречаются семь молодых женщин и трое молодых мужчин. О них известно, что все они христиане, пришедшие на мессу, когда сограждане кто сидит по домам, кто бродит по тавернам, что каждый из них потерял всех своих близких и что никто из них не уверен, что чума не коснулась уже его тела. Одна из дам, Пампинья, начинает свою речь так: «Естественное право каждого рожденного — поддерживать, сохранять и защищать, насколько это возможно, свою жизнь» [1, с. 18] Из дальнейшего понятно, что под жизнью имеется в виду не биологическое существование, а полнота достойного бытия, открытого к Богу и ближнему. Она понимает, что пребывание в городе, полном мертвецов и больных, в доме, где

никого уже не осталось, кроме служанки, разрушает ее. Поэтому она предлагает своим друзьям, таким же осиротевшим и страдающим, отправиться в деревню:

Там слышно пение птичек, виднеются зеленеющие холмы и долины, поля, на которых жатва волнуется, что море, тысячи пород деревьев и небо более открытое, которое, хотя и гневается на нас, тем не менее не скрывает от нас своей вечной красоты; все это гораздо прекраснее на вид, чем пустые стены нашего города [1, с. 19].

На первый взгляд это предложение не отличается от стратегии бегства, но это не так: беглецы «не заботились ни о чем, кроме себя», тогда как Пампиней создает сообщество. Она предлагает друзьям вместе отправиться в загородный дом. Тем самым она ставит дружество выше безопасности и надеется на то, что эта иерархия ценностей будет принята. Важно и то, что принципы сообщества Декамерона иные, чем у самоизолировавшихся эстетов или буйных бражников. Пампиней предлагает, «не переходя ни одним поступком за черту благоразумия, предаться тем развлечениям, утехе и веселью, какие можем себе доставить» [1, с. 19]. Дружескому кругу подобает достойное времяпрепровождение, при этом не так важно, сколько остается этого времени — важно провести его с радостью и благородством. В этом контексте упоминание о красотах природы — не просто пасторальный фон. Небо, «не скрывающее от нас своей вечной красоты» — образ несокрушимого Божьего мира и неисчерпаемой Божьей милости (см. Мф. 5: 45). Когда чума являет нам свою мощь, мы склонны видеть только больницы и кладбища, но в то же самое время где-то рядом есть множество молодых матерей со здоровыми младенцами, добрых стариков, которые не обязательно умрут, ремесленников, продолжающих свой труд — есть жизнь, и об этом легче помнить, когда мы смотрим на вечное небо, чем когда мы разглядываем картины чумного города, неважно, на экране или нет. Чума хочет убедить нас в том, что кроме нее ничего нет, тогда как она — лишь одно из обстоятельств жизни. При всей своей разрушительной силе чума, по мысли Боккаччо, не является основанием для отказа от жизни.

Сообщество Декамерона проводит в деревне десять дней. Почему именно десять, а не семь или двенадцать? На наш взгляд, дека-мерон указывает на дека-лог и шесто-днев. Десять заповедей, данных через Моисея, выстроили нравственный мир иудаизма, а затем и христианства. За шесть дней Бог создал мир. Декамерон — новое сотворение мира среди чумного хаоса, которое люди свободной волей совершают в соответствии с библейскими заповедями и по образу божественного творения.

Поселившись в загородном имении, герои проводят время в прогулках, музицировании и танцах. Главным событием дня является собрание, когда они рассказывают друг другу истории. Когда человек рассказывает историю, в этом участвует все его существо: интеллект, память, жизненный опыт, чувство языка, речевые способности. Рассказывая, мы живем в полноте, подтверждаем собственное бытие и утверждаем бытие другого. Поэтому для Боккаччо именно рассказывание и слушание историй — лучший ответ чуме. Собравшиеся не боятся живого ближнего, хотя понимают, что за это, возможно, им придется заплатить жизнью. Они принимают друг друга как ближних, данных Богом, с полной готовностью разделить судьбу.

Из десяти рассказчиков ни один не умер, хотя Боккаччо говорит, что много было случаев, когда здоровые красивые люди «утром обедали с родными, товарищами и друзьями, а на следующий вечер ужинали со своими предками на том свете» [1, с. 17]. По завершении Декамерона они вернулись в церковь Санта Мария Новелла, откуда разошлись по своим домам. Новый мир был сотворен и утвержден внутри каждого из них и между ними.

«Пир во время чумы» был написан в первую болдинскую осень. 3 сентября 1830 г. Пушкин, уже помолвленный с Н. Н. Гончаровой, приехал в нижегородское имение Болдино, чтобы вступить во владение деревней Кистеневкой, которую отец выделил ему к свадьбе. Он надеялся быстро управиться с делами и вернуться к невесте в Москву, но судьба распорядилась иначе: началась эпидемия холеры, и он застрял в деревне на три месяца. Перед отъездом Пушкин поссорился с тещей, в Болдине получил от отца письмо с известием о том, что его помолвка расстроилась. Когда стало известно, что холера в Москве, он сначала не беспокоился, поскольку думал, что Гончаровы в деревне, но затем узнал, что они не покидали Москву, и сильно встревожился: теперь он уже не был уверен не только в том, что Наталья станет его женой, но и в том, что она жива. Пушкин поехал в Москву, но не смог прорваться через холерные карантинные и вернулся.

В письмах из Болдина Пушкин не однажды сравнивал свою деревню с островом. Окруженный осенней грязью по колени, тревогами, сомнениями и угрозой смерти, он удивительным образом встал на твердую землю (или наоборот — именно потому, что все земные твердьи рассыпались, обрел опору в воздушном потоке, пошел по воде), что позволило обрести полную внутреннюю свободу и невероятную творческую энергию: за несколько недель он написал две последние главы «Онегина», более тридцати стихотворений, маленькие трагедии, «Домик в Коломне» и «Повести Белкина».

Во время эпидемии Пушкин часто называл холеру чумой и вспоминал иногда «Декамерон». Как герои Боккаччо рассказывали друг другу истории, чтобы сохранить человеческое достоинство во время чумы, так и Пушкин писал, чтобы избавиться от тревоги и страха смерти. Он считал, что унылость — лучший союзник холеры, и сохранять бодрость духа считал столь же важным, как и купаться в хлоровой воде и пить мяту.

«Пир во время чумы», как и маленькие трагедии в целом, появился из необходимости осознать собственную смертность. В этом Пушкин следует за Боккаччо, но делает и следующий важный шаг. Боккаччо предоставляет своим героям вести себя так, как будто чумы не существует, собраться вокруг пиршественного стола и рассказывать друг другу хорошие истории. Пушкин идет дальше: его герои приглашают Каменного гостя на ужин, поют гимн в честь Чумы. В маленьких трагедиях Пушкин не только проводит драматическое изучение страстей и характеров, не только подвергает испытанию важнейшие человеческие ценности, но и храбро вглядывается в грозный лик Иного.

Ближайший источник «Пира во время чумы» — трагедия Д. Вильсона «Город чумы» (1816), посвященная лондонской чуме 1665 г. Герои пушкинской трагедии действуют по второму варианту, описанному Боккаччо, но еще радикальней. Они не скитаются между тавернами, а пируют прямо на улице: «Улица.

Накрытый стол. Несколько пирующих мужчин и женщин» [5, с. 413]. И сегодня в обществах, сохраняющих архаические традиции, накрывают на улице столы во время свадеб, поминок и праздников, но герои Пушкина пируют на улице не потому, что совершают общественно значимый ритуал. Напротив, для них стол посреди улицы — апофеоз бездомности и разрушения устойчивых социальных форм. Они не хотят и не могут идти в свои опустошенные чумой дома.

Трагедия начинается с тоста о Джаксоне, первом из пирующих, кто умер от чумы. Молодой человек предлагает «выпить в его память / С веселым звоном рюмок, с восклицаньем, / Как будто б он был жив». Председатель Вальсингам отвергает это предложение: «Пуškai в молчанье / Мы выпьем в честь его» [5, с. 413–414]. «Как будто б», притворство и иллюзия, отвергается, поскольку, как мы увидим дальше, для председателя пир — не анестезия, а осознанное поведение.

Далее следуют песня Мери и гимн Вальсингама. Эти две песни выражают две позиции, ни одна из которых не может считаться вполне «авторской», но Пушкину важно их представить.

Первую песню по просьбе председателя поет «задумчивая Мери». Главная тональность этой «жалобной песни» — страх: «стенания живых / Боязливо Бога просят / Упокоить души» мертвых, могилы теснятся, «как испуганное стадо» [5, с. 415]. Сообществом, изображенным в песне, управляет страх: живые боятся заболеть и умереть, боятся, что их умершие не знают покоя за гробом, боятся приблизиться друг к другу. Дженни, от лица которой поется песня, заклинает своего возлюбленного не приближаться к ней, если ее постигнет смерть, не касаться зачумленных уст и бежать подальше (третья стратегия, описанная Боккаччо).

Другой важный мотив этой бесконечно грустной песни — идущее рядом со страхом разобщение. «Ныне церковь опустела, / Школа глухо заперта, / Нива праздно перезрела, / Роща темная пуста» [5, с. 414]: места, где люди объединяются ради молитвы, образования, труда, праздника, закрыты, жители деревни выходят только на кладбище. Страх Божьей кары дополняется страхом заразиться или заразить ближнего. Любимый человек, только что бывший источником жизни, рассматривается теперь как союзник смерти, а потому необходимо увеличить социальную дистанцию до лучших времен, когда «зараза минет» [5, с. 415].

Печальная песня вызывает искреннюю благодарность у Вальсингама, которому представляется утешительным, что «мрачный год, в который пало столько / Отважных, добрых и прекрасных жертв, / Едва оставил память о себе / В какой-нибудь простой пастушьей песне, / Унылой и приятной...» [5, с. 416]. Однако не все слушатели с ним согласны, на некоторых песня Мери наводит тоску. Поэтому молодой человек просит председателя спеть «вольную, живую, <...> буйную, вакхическую песнь», чтоб развеселить приунывшее собрание. Вальсингам отвечает: «Такой не знаю, но спою вам гимн / Я в честь чумы».

О председателе мы знаем три важные вещи. Во-первых, он добрый христианин: священник, который появится ближе к концу трагедии, будет обращаться к нему как к хорошо знакомому человеку. Во-вторых, он только что потерял мать и любимую жену. В-третьих, он не поэт: «Прошедшей ночью,

как расстались мы, / Мне странная нашла охота к рифмам / Впервые в жизни» [5, с. 418]. Бывают записные болтуны, готовые сложить песнь или написать пост по любому поводу. Председатель не из них. Его гимн — слова человека, знающего цену молчанию и словам.

Рассмотрение песни Вальсингама начнем с конца. Песнь Мери — призыв к сохранению эпидемиологических правил и социальной дистанции: «Я молю: не приближайся / К телу Дженни ты своей, / Уст умерших не касайся, / Следуй издали за ней» [5, с. 415]. Песнь председателя заканчивается словами: «И девы-розы пьем дыханье, — / Быть может... полное Чумы» [5, с. 419]. Для Мери главное в любви — забота о здоровье и жизни любимого, для Вальсингама — сама любовь как единение и общение. Две правды, явленные в двух песнях, сосуществуют в пространстве пира. Всякий человек имеет право сохранять собственное здоровье и жизнь, но имеет право и жертвовать ими ради иных ценностей. Каких бы взглядов мы ни придерживались, важно уважать позицию другого, продолжая видеть в нем человека, достойного радости и восхищения, объятия и поцелуя, источник жизни и радости, а не инструмент абсолютного зла и источник заразы.

Песня Мери говорит о царстве абсолютного страха, не оставляющего людей даже на кладбище, где, казалось бы, уже все случилось и бояться больше нечего. Песнь Вальсингама раскрывает царство абсолютной свободы, но путь в свободу ведет через полное смирение и принятие воли Божьей, которое при этом мало напоминает подчинение запуганных чумой героев песни Мери.

Песнь председателя начинается со сравнения Чумы с зимой, в свете которого понятно, почему песня Мери так тронула Вальсингама. Зима — регулярная неприятность. Когда она приводит «косматые дружины / Своих морозов и снегов», все знают, что она закончится. Так и чума, некогда опустошившая шотландские селения, прошла, а люди выжили, сложили песни и родили детей. Любая чума проходит, поэтому подчиняться ей — слишком много чести. Вместе с тем и отмахнуться от нее невозможно: «Царица грозная, Чума / Теперь идет на нас сама / И льстится жатвою богатой; И к нам в окошко день и ночь / Стучит могильною лопатой». Сама царица Смерть встала со своего престола, где она невидимо пребывает в лучшие времена, двинулась к нам и приблизилась к каждому дому. В этом тоже ее сходство с зимою: времена года приходят для всех без исключения, как и пандемия, как и смерть. Вопрос «Что делать нам?» [5, с. 418] поэтому имеет всеобщее значение и относится не только к чумным временам. Что делать с тем, что мы неотменимо и неисцелимо смертны? Председатель дает на первый взгляд противоречивую, но по существу богословски безупречную рекомендацию: запремся в своих домах, станем пировать и восславим царствие чумы. Собственно говоря, так мы поступаем и зимой: никто не открывает двери домов настежь, чтоб все выстыло и заledenело, напротив, мы зажигаем огонь, топим печи, но при этом радостно празднуем зимние праздники. От чумы также следует закрываться, принимать все меры для того, чтобы жатва не оказалась обширной, но вместе с тем не прекращать жить в радости и восславить царствие Чумы.

Здесь сравнение Чумы с зимою дает трещину. Понятно, что петь про зимушку-зиму, метели и вьюги — совсем не то же самое, что восславить саму

смерть. Тем не менее к наставлению ап. Павла «Всегда радуйтесь, за все благодарите» (1 Фес. 5: 28) нет примечания с перечислением особых случаев, когда можно этого не делать. Знаменитые слова Вальсингама об «упоении в бою, / И бездны мрачной на краю» [5, с. 419], на наш взгляд, имеют смысл христианского героического смирения, хотя их часто истолковывают в духе романтического бунта, эстетизации зла, своего рода экзистенциального удаления и отчаянного гедонизма: вот, я умираю под натиском стихии — и все равно наслаждаюсь.

Жизнь человека — это всегда жизнь в предлагаемых обстоятельствах. Слишком много параметров, от цвета глаз и телосложения до родного языка и нравственных качеств детей и родителей, мы не выбираем. Мы не властны построить свою жизнь, но мы свободны к ней так или иначе отнестись. Как отнестись к грозным разрушительным силам мира? Можно увидеть в них досадную помеху привычному течению наших дней или исправительное наказание, но можно увидеть и врата, ведущие к большей полноте и человеческой зрелости.

Вполне осознать ценность жизни человеку удастся лишь «на краю», когда велика вероятность ее потерять. Оказавшись в бою, среди бушующего океана или в чумном городе, мы и стоим на этом краю: из боя можно выйти живым или не выйти, от болезни можно выздороветь или умереть. Кто прошел через ураган и выжил, имеет высокий шанс научиться радоваться и благодарить. Пережитая чума заново открывает красоту и ценность всего, что дает нам самый простой день.

Но что, если именно я окажусь тем, кто не выжил? Умирать всегда страшно и никогда не хочется. Даже среди людей, прикованных к постели годами и страдающих от разных телесных болезней, немногие ожидают смерти как освобождения. Вальсингам предлагает взглянуть в мрак губительной стихии и в глубину собственного смертного сердца с тем, чтобы открыть там «неизъяснимы наслажденья — / Бессмертья, может быть, залог» [5, с. 419]. Пушкин воспроизводит здесь мыслительную фигуру из оды Г. Р. Державина «Бог», где созерцание непомерного, почти нестерпимого божественного величия приводит к принятию человеческой смертности: «Твоей то правде нужно было, / Чтоб смертну бездну преходило / Мое бессмертно бытие; / Чтоб дух мой в смертность облачился / И чтоб чрез смерть я возвратился, / Отец! в бессмертие твое» [3, с. 54].

Восславить царствие Чумы — значит разглядеть в ней волю Божью и смириться перед этой волей, даже если сегодня она явлена как страдание и гибель. Чума убивает, но и отверзает божественные врата. Если есть Бог, она не бесчинствующая царица, а Его слуга, а потому и за нее можно благодарить, и ее можно восславить. Принять эту мысль трудно, поскольку жизнь земная уже дана, хрупка и драгоценна, а жизнь Царствия Божия сокрыта и неочевидна, и нам всегда хочется подсказать Богу, чтоб Он продлил наши прекрасные дни на земле, сохранил нас от всякой скорби, зла и болезни. Немногим удается, как св. Франциску из Ассизи, благодарить Господа за все, включая и сестру нашу смерть телесную. Пушкину это удалось. Смерть автора доказала, что его гимн в честь Чумы не был пустым пиитическим экзерсисом. Доктор В. И. Даль, неотлучно бывший с Пушкиным в последние сутки его жизни, свидетельствовал:

Пушкин заставил всех присутствовавших сдружиться со смертью, так спокойно он ожидал ее, так твердо был уверен, что последний час его ударил. Плетнев говорил: «Глядя на Пушкина, я в первый раз не боюсь смерти» [2, с. 229].

Когда человеку удается разглядеть в царице Чуме сестру нашу Смерть, его удел не меняется. Смерть не превращается в жизнь, не становится ни добрее, ни краше. Тем не менее, страх отступает.

Впрочем, «Пир во время чумы» песнью председателя не заканчивается. Благодарить Бога за все, включая смерть — достойное поведение, но и здесь все не так просто. Каждый из нас имеет право назвать свою смерть сестрой, но при виде страданий и смерти другого фальшивыми и безнравственными будут слова о Божьей благодати. Смерть все равно остается разрывом в бытии, трагедией. Поэтому после песни Вальсингама появляется священник, призывающий, вполне в логике песни Мери, прекратить «пир чудовищный» [5, с. 420] и разойтись по домам, чтобы молиться и оплакивать умерших. Они с Вальсингамом вступают в яростный спор, в ходе которого, казалось бы, председатель сдает позиции и сознается: «Я здесь удержан / Отчаяньем, воспоминаньем страшным, / Сознанием беззаконья моего / И ужасом той мертвой пустоты, / Которую в моем доме встречаю» [5, с. 421]. Накал диалога увеличивается, священник заклинает Вальсингама именем жены, после чего последнего посещает видение: «Где я? Святое чадо света! вижу / Тебя я там, куда мой падший дух / Не досягнет уже...» Женский голос резюмирует: «Он сумасшедший, — / Он бредит о жене похороненной». Что же касается священника и Вальсингама, их видение, напротив, трезвит. Только что они ссорились, приводя самые жестокие аргументы — и вдруг наступает мир: «Отец мой, ради Бога, / Оставь меня. — Спаси тебя Господь. / Прости, мой сын» (Уходит. Пир продолжается. Председатель остается погружен в глубокую задумчивость)» [5, с. 421].

Предлагая нам разные варианты отношения к смертности и заразе, Пушкин оставляет читателю свободу выбора. Единственное, что он утверждает — это красота мира и смирения между священником и председателем в финале. Ни один из них не отступил от своих позиций, но они взглянули друг другу в лицо и обменялись благословениями. На этот миг чума, разобщающая людей, прекратилась.

Итак, на вопрос, как жить во время чумы, Боккаччо и Пушкин отвечают примерно одно и то же: ровно так же, как и в другое время. Оставаться человеком, способным к состраданию, юмору, благодарности, смотреть на вечное небо, а главное — видеть в ближнем собеседника, друга и брата, а не носителя заразы.

Заметим попутно, что трудно согласиться с Ж.-Л. Нанси, который утверждает:

В прошлом пандемии могли считаться божественным наказанием, поскольку болезнь вообще в течение долгого времени рассматривалась как нечто внешнее по отношению к социальному телу. Когда же люди осознали ее биологическую природу, вирус стал подтверждением отсутствия божественного [13, p. 61].

По-видимому, вирус никогда не доказывал ни присутствия, ни отсутствия божественного. Напротив, во время эпидемии всегда обостряется

конфликт ценностей. Каждому человеку приходится выбирать, что для него важнее — сохранение физического здоровья и продление жизни или сохранение свободы и возможности общения с другим? Некоторые исследователи отмечают как характерный признак нынешней пандемии легкость, с которой люди отказываются от всего ради биологической безопасности:

Урок реакции на вирусный кризис заключается в том, что под угрозой смерти ценности отступают. Значение этого урока для понимания природы человеческого существа фундаментально. Физическое выживание — это императив, все остальное — роскошь [6].

Едва ли нынешний ковидный кризис в этом смысле отличается от своих предшественников. И прежде, и теперь выбор между подчинением императиву физического выживания и верностью свободно избранным ценностям остается личным решением каждого человека.

Особенность нынешней пандемии состоит в другом. Нас убеждают в том, что лучше проявление солидарности и любви к ближнему состоит в том, чтобы ради эпидемиологической безопасности сократить физические контакты, увеличить социальные дистанции и перевести общение в удобный и стерильный цифровой формат, в режим того самого «как будто б», отвергнутого Вальсингамом. Однако телесность при всей своей уязвимости и хрупкости — заповеданный Богом человеческий удел. Бог воплотился и вочеловечился, Он прожил жизнь и принял смерть в теле, а затем телесно воскрес. Тем самым Он освятил плотную телесную реальность, открытую болезни и смертную, как ту жизненную среду, где происходит встреча с Ним как полной истины и жизни. Отказ от телесного проживания и переход в виртуальный режим, казалось бы, совершается ради сохранения тела, его здоровья и жизни, но на деле ведет к обесцениванию и разрушению телесности. В этих условиях сообщество Декамерона, опыт пира во время чумы обладает неожиданной актуальностью:

Выяснилось, что невероятной ценностью обладает дружеская тусовка, где ты все-таки можешь вести свое контактное проживание, <...> где можно без масок и камуфляжа, <...>то есть без всяких опасений, делиться мыслями, которые у тебя есть, свободно высказывать мнение, никого не боясь затронуть, боясь прослыть непolitкорректным, высказывать ту мысль, которую ты думаешь, и выслушивать аналогичные мысли. <...> Опыт показывает, что активизировались, иногда возникли заново, как раз те тайные общества в лучшем смысле этого слова, которые таким образом и перенесли этот жестокий, не только медицинский, но и социальный, психологический, экзистенциальный карантин. На фоне того, как обрушилось наваждение абстрактного политкорректного человечества, на фоне внезапного исчезновения солидарных экологических маршей и актуального искусства <...> что осталось? Остались друзья. Станным образом идея ближнего круга, родных, близких и друзей выдержала. Она оказалась неизбежной, в отличие от абстрактных моральных правил, в соответствии с которыми ты должен не делать различия между ближними и первыми встречными [7].

Такие скромные вещи, как дружеский круг, телесное проживание и контактное общение, сохраняют живое пространство, необходимое для того, чтобы чума пошла на убыль. Признание и принятие собственной смертности

освобождает от страха и дает индивиду возможность осуществить свое право на частную жизнь, не прозрачную для санитарно-цифрового контроля и не подчиненную конструированным мыслям и эмоциям, право на пир.

ЛИТЕРАТУРА

1. Боккаччо Д. Декамерон. — СПб: Эпоха, 1992.
2. Даль В. И. Смерть А. С. Пушкина // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: в 2 т. — М.: Художественная литература, 1974. — Т. 2.
3. Державин Г. Р. Бог // Державин Г. Р. Соч. — М.: Правда, 1985.
4. Каспэ И. М. Опасность и чистота. Пандемия сквозь призму (анти)утопии. — URL: <https://iq.hse.ru/news/376188536.html>
5. Пушкин А. С. Пир во время чумы // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. М: Изд-во АН СССР, 1957. — Т. 5.
6. Пшеворский А. «Физическое выживание — императив, все остальное — роскошь» // Россия в глобальной политике. — 2020. — № 3. — URL: <https://globalaffairs.ru/articles/fizicheskoe-vyzhivanie-imperativ/>
7. Секацкий А. К., Михайлова М. В. «Лучше всего карантин переносят тайные общества». — URL: <https://www.grad-petrov.ru/broadcast/luchshe-vsego-karantin-perenosyat-tajnye-obshestva/>
8. Фуко М. Надзирать и наказывать: Рождение тюрьмы. — М.: Ad Marginem, 1999.
9. Чендлер Д. Биополитика и подъем «антропоцентрического авторитаризма» // Россия в глобальной политике. — 2020. — № 3. — URL: https://globalaffairs.ru/articles/biopolitika-avtoritarizma/#_ftnref20
10. Agamben, G., Clarifications // An und für sich, 17 March 2020. — URL: <https://itself.blog/2020/03/17/giorgio-agamben-clarifications/>
11. Agamben G. Riflessioni sulla peste. — URL: <https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-riflessioni-sulla-peste>
12. Lennox J. C. Where Is God in a Coronavirus World? — London: The Good Book Company, 2020.
13. Malabou C. To Quarantine from Quarantine: Rousseau, Robinson Crusoe, and «I»/ — URL: <https://eprints.kingston.ac.uk/id/eprint/48042/1/Malabou-C-48042-VoR.pdf>
14. Nancy J.-L. A much too human virus // Coronavirus, Psychoanalysis, and Philosophy. Conversations on Pandemics, Politics, and Society. — London: Routledge, 2021.
15. Žižek S. Pandemic! COVID-19 Shakes the World. — New York: OR Books, 2020.